

СЕРГЕЙ ПОПОВ

ДЕТСКИЕ ВОЙСКА

КНИГА СТИХОВ

* * *

пиф-паф и дивизии крышка
паршивая выпала фишка
твоим закадычным воякам
видать не в ладах с зодиаком

созвездья не те над прихожей
над потной и цыпчатой кожей
над вечной подначкою к бою
над маминой минной любовью

над улицей чёрной с балкона
во время вечернее оно
где ловит оконная рама
неброские краски вольфрама

где все полегли без остатка
и мёртвым на коврике сладко
и пылью и потом и тайной
сквозит от картины батальной

и дым ненавистный и пресный
несётся из кухни воскресной
и нужно погибнуть с полками
и нечего жить пустяками

воскреснет ли тот кто не умер
войдёт ли красив и безумен
в ожившие сны полковые
как в омут созвездий впервые

* * *

Нахлобучен на башни
новостроек окрест,
дым надежды вчерашней
всё глаза тебе ест.

Всё нутро тебе студит,
воду в ступе мутит.
Ни черта не избудет
и не предвосхитит.

Разве переиначит,
перемелет, пробьёт?
А морочит, портачит,
на протравку берёт.

Сыплет морось на льдины,
вышибает слезу –
с верхотуры едины
все угожья внизу.

Он объял силикатный
гладкобокий кирпич.
О дороге обратной,
знамо дело, не хнычь.

Не кичись неуменьем
покидать времена.
Чай с домашним вареньем
выпей, мальчик, до дна.

Да прощупай намесы,
пересиль неуют.
Что за мелкие бесы
спать тебе не дают?

Древенеешь и видишь,
как с водой заодно
обольстительный китеж
заполняет окно.

* * *

ситро на запивку картошка рагу
окурки дымят в новогоднем снегу
отец гоношится с гитарой

замнач секретаршу снегуркой одел
за всю уминает отцовский отдел
пустой заставляется тарой

у нас беззатейно и тесно в гостях
зачем-то над окнами вывешен стяг
тусуются белые мухи

идут анекдоты ну полный улет
с надрывом взавправдашним дядя поет
про чьи-то сердечные муки

и телек рекорд и крутилка аккорд
и первый полет и рекордный окот
мурыжатся в тамошней ступе

детсадовский праздник и баба яга
а после до дому и вся недолга
пою с итээрами вкупе

ночной нескончаемый вкрадчивый снег
мучительно потно и дымно во сне
о лакомых планах на лето

какая в июле ужалит оса
по свежей тоске отпускного отца
и море заплещется где-то

магнолии влажным огнем расцветут
пломбир разойдется по нёбу и тут
пора на прогулочный катер

и станет смелей уменьшаться земля
и все на земле мне ля-ля тополя
пока эта лодочка катит

* * *

Водоросли осени осклизлой
изошли в ознобе дождевом.
Окружённый выцветшей отчизной,
в сумрачном кольце сторожевом

вспомнишь непонятные детали,
смятые значенья, миражи,
хмарью загороженные дали –
всё безделки прежние свежи.

Всё не выйдет вымокшая пряжа,
не отсохнет паркина рука.
Стебли неземного пилотажа
густо прорастают облака,

дабы тени, призраки и иже
пробавлялись кровью травяной,
будто их сообщество и движет
тверди распорядок коренной.

* * *

Запомни загар на девчачьей руке,
мамашин браслет, воспаленье «пирке»,

асфальтовый зной, костоломный футбол,
любви телефонной ночной произвол,

на склонах осклизлые монастыри
с наскальным фольклором и вонью внутри.

Каштаны, летящие наземь. Шелка
красоток у сквера в разгар вечерка.

Заметь и легко пролистай, отложи.
На небе сменились теперь чертежи.

И ты, как жилец расстановки иной,
спокойно заварки хлебни ледяной.

Чтоб власть с воскресенья и до среды
дивиться на вкус заржавевшей воды,

чтоб медленной горечью этой во рту
купить за бесценок себе пустоту –

коробку, объём – и что хочешь клади –
хозяин и барин, коль сказ позади.

Он свёрнут, в нагрудный положен карман
тому, кто в предутренний входит туман.

И мышцы грудной пульсовая волна
в бумажную дрожь переходит сполна.

Патрон первый

Массивная, тёмной выделки, исцарапанная крышка раздвигалась неохотно, медленно, с запинками. Стол никак не желал выдавать недра своих тесных, забытых домочадцами недр. Мы с приятелем закадычным моим сопели истово друг против друга и, упершись ступнями в тяжёлые фигурные ножки, тянули что было сил каждый на себя. Прозвище у приятеля было «пострел».

Странное какое-то прозвище. Скорей взрослое восклицание. Отчего пацаны его так величали? Мне чудились в слове этом острие опасности, озноб риска, внезапность выстрела. И в самом деле неведомо было, что выкинет кореш мой в следующую минуту, на какой вираж нас с ним занесёт...

Упрямое дерево, наконец, поддалось, тяжко поползло по пазам, глухо туркнулось в края. Обнажились пыльное комканое тряпье, жёлтые надорванные листья, тусклая россыпь медных монет. Резко пахнуло затхлым, слежавшимся, подтлевающим. Будто откупорили бог весть когда засургучённый сосуд и выпустили невзначай зловеющий томлённый дымок минувшего. И вот-вот совьётся из него что-то вещное, здешнее, пугающее. И свершилось...

Пострел извлёк из столового брюха матерчатый свёрток. Заговорщицки поглядывая на меня, разматал зелёную байку. Театрально помедлил в финале этой незамысловатой манипуляции. И резко выкинул правую руку вверх.

Над головой моей навис судорожно сжатый в тонкокостной ещё пятерне огромный воронёной стали револьвер. С настороженной мушкой на вымасленном стволе, крутобоким грузным барабаном, рифлёной выпуклой рукояткой. Это было впервые: головокружительно в живую и неправдоподобно близко.

«Дедовский, - гордо пояснил Пострел, - в нём и патрон есть. Я знаю». Мгновенный ток колко пробежал по моим позвонкам. Патрон! Магическая запретная штука. Им можно безжалостно поразить обрыдлую обыденность, выхватить вспышкой выстрела любое мгновение из безраздельной хронологии, разбудить всех жвачных сомнамбул в нашем дремотном околотке. «Попробуем? - великодушно предложил Пострел, крутанув указательным пальцем барабан, - в столе ещё коробочка с ними припрятана».

Я не отвечал. Нет, было вовсе не страшно. Просто не по себе оттого, что с подаренным случаем предстоит тут же расстаться – не ощутив, сполна не надышавшись, не впитав. Запросто, походя, бесцельно.

Было смертельно жалко. Ведь этот маленький металлический цилиндр может остановить время! И кто дал право потратить его на первый попавшийся, ничего не значащий, самый пустяковый стоп - кадр?

Вдруг ключ в замке залязгал, дверь заскрипела, половицы взвизгнули. Пострел проворно укутал своё достояние, сунул на место. Мы дружно с двух сторон навалились...

«Что вы тут делаете?» – вместо приветствия дружно спросил испытующий отец.

«Ничего», - шумно и с облегчением выдохнул Пострел.

Мы стояли по разные стороны погребённой перспективы над задраенной пропастью неизвестности и с едким молоком на губах криво улыбались возможности волшебства.

* * *

Банки да склянки катаются в ельнике,
пригород сопли жуёт.
Эники-беники ели вареники,
вот и бастует живот.

Так доставай свои грелки с пилюлями
глауберову соль –
в тесной песочнице с олями-юлями
полно глядеть в унисон

про алфавитные буквы разные –
кто на трубе, кто нигде –
и огонёчки оконные ранние
видеть в проточной воде.

Ах, дождевые мои кособочины,
Дайте отвянуть в тепле.
Двери задраены, игры закончены.
Чашка с бурдой на столе.

Что же, за маму, за папу, за братика
тянешь-потянешь вовнутрь.
Горький цикорий и кофий «Арабика».
Яростный фильм про войну.

И разговор переменчивый ужинный –
в Киев, а то в огород.
Сны расколдованы, феи разбужены.
Осень дрожит у ворот.

И надвигаются страхи заочные,
джинны из втертых ламп,
клятвы ночные, подглядывы замочные,
тени по тёмным углам,

дивы, убийцы, водители конницы,
злая до злата родня.
Пот загляденья по пористой коже
в цыпках от прежнего дня,

где бедуинская бронза подглазная
цвета тамбовских небес,
местность заречная, мга непролазная
окна на мусорный лес.

* * *

Увы, твои мальчишьи сходки,
пацанство, глупое кино.
Запасы вымысла и водки
вчистую кончились давно.

Перевелись – и бога ради –
всё глуше даль, наглее близь.
Перепились седые дяди
да и по норам разбрелись.

Бушует пагуба разъятая,
что ржавый ясень на ветру.
И если ясельные братья
проснутся завтра поутру,

припомнят дом и дым над крышей -
пустые сны, былые дни –
всё невесомей, горше, выше –
и там созвездия одни.

* * *

не за водою пойду босиком
а из воды прорасту тростником

не на удачу закину уду
сам как грузило под воду пойду

не до поклёва как пень простою
запеленаюсь в подводном краю

илом кореньями рыбьей слюной
тьма и молчание станут со мной

криво и вкрадчиво речи вести
стылым теченьем кормить из горсти

утлым свеченьем вчерашнего дня
злым отраженьем подгнившего пня

где зажигали огни светляки
прямо над жадной стремниной реки

и не пускал их ни ил ни тростник
прочь по теченью утечь напрямик

* * *

Все какие-то смутные виды
из райцентровской хмурой дыры
на курорты татарской Тавриды
золотой предосенней поры,

засивашские вина и дыни,
абрикосы в упругом соку,
смуглых праздниц в припадке гордыни
в ресторане на самом верху,

в белом облаке близкие горы,
в жирном дыме люля да кебаб...
Заливались народные хоры,
заливал на планерках прораб.

И валили глумливые дети
через стройку из школы домой,
и все раньше смеркалось на свете
каждой следующей зимой.

И все хуже виднелись колеса,
все трудней проступали вдали
за маршрутами цементовоза,
за объектами отчей земли

дозревавшие сладко и долго
фрукты юга в небесной арбе
над законченной кровлею морга
у ворот типовой ЦРБ.

* * *

Памяти Саши Ромахова

Неудельные надвинулись недели,
солнце августа устало смотрит вниз.
Электрички чумовые отгалдели
и портвейн по одноразовым прокис.

И вокзальные утихли передряги,
и ментовские унялись патрули.
В райсовете депутаты-бедолаги
на испарину до нитки изошли.

Летаргию стороны полухохляцкой,
право дело, никому не одолеть.
Сколь затворами задорными не лязгай,
сколь не жалуй вразумляющую плеть,

жарче марево, упорнее умора,
пыль наглее наползает на глаза...
Но умри, замри, воскресни – осень скоро –
бесприкаянность, свобода, бирюза.

По всему выходит, стоит докумекать,
«Беломором» протравившись от души,
как до города Воронежа доехать,
на какие понадеяться шиши.

Светит выгода, мерещится услада
вволю завтрашнего воздуха глотнуть.
Оттого-то и кручиниться не надо:
наше дело – собираться в путь.

* * *

Пока залысины глумливо
ласкает вешний ветерок,
философ местного разлива
в себя закачивает впрок

какой-то мерзости гремучей
шальной флакон очередной
и коченеет туча тучей,
и тормозит как неродной.

Его хреновой перспективы
опознаваем окоём.
Ау, кладбищенские ивы
и бабки с приторным нытьём!

Всё к одному идёт как едет
мытьём да катаньем в черёд,
покуда в мученики метит
осоловелый мыслеплёт.

Где, дескать, пагуба в развязке?
Мы попадались столько раз!
Всё это песенки да сказки.
Не заговаривайте нас.

* * *

Набухший оттепелью Воронеж
с паром над водосточными решётками,
выхлопные газы февральского вчера
из распахнутой форточки шефа лито,
грузного и хвастливого,
на восьмом десятке помнящего лысого Прасолова
со свежей странгуляционной бороздой,
дурашку Мелёхина, летящего вниз головой
на асфальт ближнего Подмосковья,
Жигулина, в обнимку с палочкой Коха
после ЦДЛовского застолья.
Чавкающая грязь у ларька, где портвейн дешевле,
призрачные в водосточном пару
менты с потными собаками баскервилей,
задохнувшийся от влажных выхлопов Ленин
с кепкой, зажатой в горсти,
словно жалкая детская медь,
из последних сил тычущий в сырой вокзал,
где в двадцать один десять московский скорый
перережет дымящиеся, как мокрые пепелища,
канализационные ручьи
и поплывёт мимо теплостанции первых пятилеток,
тёмного тепловозоремонтного завода,
булькающих АГВ шпанских пригородных посёлков
за тяжким предвесенним маревом,
безвозвратно густеющим
по голым садам недавнего прошлого.

* * *

Чёрные бордовые разводы.
У моста речные теплоходы.
Августа последние часы.
Новостроек выморок фонарный
на крови языческой, янтарной
водоёма средней полосы.

В западне прибрежного заката
отражений злая стекловата
от финифти нефти на плаву
яростно корябает по нёбу,
укоряя душу и утробу
тем, что умираю и живу.

Корабельный крик похож на птичий —
или это равенство обличий
на предельном выделе тепла.
Длинноклювых кранов развороты.
Встречных чаек гибельные ноты.
Осени небесная зола.

Резво разоряется из рубки
про ветра побед и еврокубки
радио в казённом кураже.
И сигналил фара носовая,
что темна волна голосовая —
заповедны высверки уже.

Что словам не писаны значенья,
что сердцам опасны попеченья —
всё в крови над крапчатой волной.
Всё острее и ярче сигарета,
всё трудней видны от парапета
масло света, дёготь водяной.

Патрон второй

Ранним вечером в жидких сиреневых сумерках робко расцветала манкая опасность встречи с чижовскими. Задиристого матерка, разбитых носов, жарких погонь-убеганий. По заросшим склонам, стёсанным лестницам, через прибрежные кривые проулки. Прерывистого дыхания, выдранных пуговиц, клейкого пота. Дружного лопотанья, что совсем не так надобно. Без лишнего трёпа, коротко сбоку, костяшками по скуле. Тогда б и сматываться не пришлось, и под колонкой не отмываться, и отместку не прикидывать. Ну да задним умом... На войне как на войне.

Но ведь и на войне – не сплошь война. Чаще даже не война. Войны-то, по правде говоря, и вовсе почти не было. Только лиловые летние ночи, спёртые у родителей сигареты, тесные палисадники по холму. Воздушное электричество, тёмное напряжение, дерзкие высверки. Фантазия, предвкушение, пряно травье дикое. Дым, уплывающий в ночь с её зажжёнными оконцами, пыльными фонарями, зелёными звёздами.

Зелёная, чёрная вода. Блики по водохранилищу. Поздние рыбаки у паркета. И лишь совсем вдали – редкие зарницы, неясные отсветы, короткие вспышки. Мгновенные жизни неведомых огненных материй, грядущие баталии в сумрачном небесном зеркале, тайные угрозы по ту сторону времени. И всё-всё это не здесь и нигде. А только на воспалённой неслучившемся сетчатке, в бессонной крови ожидания, вечной темноте сбивчивого сердца.

* * *

По косогорам сохнет глина.
Пылится лето у дверей.
Неукоснительная Нина
и уморительный Андрей

заводят речь о том, что скоро
сентябрь подступит ко двору,
осядет пыль у косогора
и станет зябко поутру.

Скамьи облупятся в беседке,
паслён сольётся с лебедой.
и закудахтают соседки
о прежней жизни молодой.

И если курица не птица,
то осень всё-таки петух –
клюёт, кобенится, когтится,
покуда день твой не потух.

Покуда в сон твой долгожданный
переселятся не спеша
Андрей и Нина, Стас и Анна
и все былые кореша,

которым надо завтра в школу
у перепачканной доски
с трудом прилаживать к глаголу
времен нелепые тиски,

чтоб било детское зубило
о неуступчивый металл.
Итак, ещё раз: «- или, - ило».
И дальше: «- али, - ало, - ал».

* * *

В.Ш.

на прежнюю пряжу надёжу
себе не запишешь в зачёт
сквозь полупрозрачную кожу
прозрачное время течёт

и ток пробегающий тенью
неверную кровь холодит
и воздух подобен растенью
и тень по соцветьям летит

цветы колдовства и удачи
и парок спокойная злость
могло обернуться иначе
но именно этак пришлось

единственно так оказалось
озябнуть на здешнем ветру
и самая малая жалость
навечно забыть поутру

видений ночные громады
могучую радугу слёз
невытертый след от помады
и хвои венковый начёс

всю жизнь в заревом отпечатке
на сизом оконном стекле
небесную тень на сетчатке
чудесные блики во мгле

* * *

Просыпаясь от взгляда догадливых белых крыс
сквозь воздушную сетку вивария прежних дней –
перепад давленья сосудистый ли каприз –
видишь то, что издали светит тебе видней.

Парк, где раньше блестел брусчаткой кадетский плац,
у закрытого тира мороженое с лотка,
тополиная ржавчина, поздний накал тепла,
транспарант про дело, которому жить века,

прямо перед окном, где будущий эскулап
со своей спиртовой колдует и в перерыв.
То анофелес в рост, то рефлекс лягушачьих лап,
то настенный перечень всех земноводных, рыб,

знай себе, проносятся по зрачку
в световом пучке без времени и слезы.
Лишь кукушка на кухне налаживает «ку-ку»,
на пружине в те же входя пазы,

как хвостист в исхоженный коридор –
дрожь по коже – всё гаже идут дела.
Шалый луч прожектора, зряшная жизнь, позор –
стерлись зубы закусывать удила.

По причине утери численника число,
год и месяц стопарятся в ночи.
Микроскоп, часовая стрелка – очнись, алло,
на рябом стекле истекшее различи.

Что же лучше, чем молча глядеть в трубу,
забавляясь тумблером, медленно забывать
и соседа слева последующею судьбу,
и привычку той, что справа, не забивать

буйну голову тем, что вытрется габардин,
растеряет префиксы – суффиксы вся латынь
и с военной выправкой тополь едва ль один
предоктябрьскую уберезет теплынь.

* * *

Кончатся вечеру, качаться
вчерашней тени на стене.
Озноб, молчанье домочадца,
улыбка детская во сне .

Плясать, пороги обивая,
ночной метели наугад,
чтоб наша сказка бытовая
предполагала сон и сад,

план заполошного пострела
в сердцах уехать насовсем.
Горит укутанное тело –
и пламень глух, и разум нем.

И раскаленным нетерпеньем
померкший мир заморожен,
предколыбельным беглым пеньем,
калифьей властью, страстью жен,

визиря льстивым мадригалом,
Евфрата мутною водой,
кинжалом тайным, платьем алым,
кунжутом с цедрой молодой.

Идет садовник в недрах сада,
идет свеченье от реки
сквозь переплясы снегопада
и пригородные дымки

в берлогу вирусной дремоты,
в горнило липких одеял,
ведь счастья северные льготы
еще никто не отменял.

* * *

Засыпая, видишь пологие дюны северного побережья, безлюдную береговую полосу, неощутимо переходящую в пасмурную гладь залива. Вдали он без черты закругляется в небо.

Светловолосая женщина идёт к реке, не оставляя на проточном песке никаких следов. Потом на мгновение оборачивается и улыбается. Потом она становится всё меньше и меньше.

Облокотясь на капот машины следишь за её уменьшением и вертишь в руках пачку её сигарет. Забавное нечитаемое название. «Тебе не слишком противен этот запах?»

Края нет. Редкие острова чахлого кустарника только умножают объём. Ветер зарится на брошенную одежду, и необходимо сверху кинуть босоножки.

Потом её почти не видно. Она растворилась в облачных отражениях. Только распущенные волосы не отданы зазеркалью.

Холодно. Самое начало осени.

Как ни странно, нет береговых чаек. Нет жирных самолётных линий. Нет призраков пограничных катеров. И её совсем нет. О ней можно теперь только догадываться по шариковым телефонным цифрам на внутреннем дне спичечной коробки. «Так никогда не сотрётся».

* * *

уже холмы такого ила
не видно дна и что на дне
что было мило чья могила
теперь понятно не вполне

такая зелень плесень ряска
заволокла иные дни
не брызнет свет не прыгнет краска
плотве играющей сродни

они плывут слепые рыбы
в глуши лягушек и лещин
взирают сирые обрывы
на гиблый перечень причин

косые отмели наносы
игра в молчанку до зари
осыревают папиросы
сосёт под ложечкой внутри

затем что вскорости случится
взойдёт в зобу что будет сил
прозреет рыба прянет птица
зашевелится липкий ил

и где вчера влачила ива
десятый сон небытия
блеснёт глубоко и глумливо
судьба бездонная твоя

* * *

Листья зашепчутся. Ветви шелохнутся. Кроны...
Ветер скользнет по вершинам на сонные склоны.
Ветер пройдет по степи и закружит над морем,
Пересечет побережье, вернётся к предгорьям.
Тронутся кроны, как маятник, эти и эти.
Мах, полукруг. Вечный ветер идет по планете.
И неизвестны пути, перепутия круты.
Бог его знает, кто выдумал эти маршруты.
Как бы то ни было – он не расстанется с ними,
Будет гудеть в водостоках уснувшей Варшавы.
Ржавчина счистится, выступит всякое имя
На обелисковых досточках, где они ржавы.
Волны идут по Днепру, гнутся травы на речке Каяле...
Да не с тобой ли на тех берегах мы стояли?
Ветер гулял. И несло по воде отраженье.
Ветер кружил. И поныне все длится круженье –
Запах знакомый прибрежного дыма и пыли...
Сколько колец, сколько судеб на свежем распиле...
Дым уплывает. И кроны качаются реже.
Ветер уходит к долинам иных побережий.
В окна стучит, под случайною кровлей ночует.
Кто-то проснется : «Да это же ветер кочует».
Следом очнутся – как будто ни ветра, ни стука.
Вот и безветрие – тоже бессмертная штука.
Только взгляните – как кроны, как ветви спокойны.
Кто сочинил небылицы про ветры и войны?
Кто просыпается нынче – не я ли, не ты ли?
Кроны затихли, и ветви свинцово застыли.
С тем и заснем. Почему же тогда нам не спится?
Полночь тиха. И до трещин обветрены лица.
Что мы прослушать боимся – касанье ли, шорох?
Осенью листья на ветках сухие как порох.
Осенью ветки на дереве, будто в обойме патроны...
Тише, очнитесь! Качнулись высокие кроны.

* * *

заморочки нездешнего рода
за внезапной чертой маеты
над разливом закатного йода
громоздятся речные мосты

отороченный лиственной рябью
неизвестен и жуток маршрут
и подошвы дорогу ухабью
как огниво без устали трут

дабы вытрудить искру вдобавок
вопреки укоризне зари
и прибыток на крайней из лавок
раздувать и баюкать внутри

обрывать заскорузлые узы
зыбкой яви с уловками слов
многоточия а не союзы
вызволять из медвежьих углов

перещёлки невидимых тварей
перебивки развилок и круч
перегорклый рассыпчатый карий
точно запертый кем-то на ключ

тесный воздух горючего лета
присный ворох колючих теней
светляковую сыпь до рассвета
осыпь чёрного йода над ней

Патрон третий

«Казачок, «Кубанскую» будешь?» - небритый крепыш в тельняшке увесисто хлопнул меня по плечу и упруго приобнял. Я изумлённо зыркнул на него снизу вверх и в знак отказа энергично замотал головой. «Салага» - заключил он и утратил ко мне всякий интерес. Отвернувшись, воздел руки к небу и с криком «Виват, десантура!» ринулся к ватаге таких же полосатогрудых малых. Через мгновение он утонул в их штормовых объятьях. А ещё через минуту шторм бушевал в городском фонтане: гнали знатную волну и пригоршнями подбрасывали воду к солнцу. Рукотворная радуга стояла над сквером.

Мне нравились радуги. Это одни из редких вещей, которые, ежели не лукавить, появляются неведь как и зачем. И исчезают также самостийно. Сквозит в них отдельная и неясная стихия. Они являются в наши измерения из других сфер. И чтобы скрыть ущербность свою и дремучесть, мы выдумываем физические резоны, химические оправдания и ещё бог весть что. Ханжи и наивцы, будет надувать щёки!

Но теперь бурная избыточность праздника трезвила, сковывала, мешала кайфовать от семицветия. Оркестр у фонтана наярывал словно в последний раз. Сотрясаемый воздух шутя обрывал прочные летние листья и швырял их, куражась, под ноги пританцовывающей толпе. Почти гибельная исступлённость действия угрюмо зачаровывала, но не уточняла в чём твоя печаль. Просто зачем-то толкала её в бок, будила, теребила. И было не понять, откуда она и почему, а лишь только – что поднимает голову и глядит насквозь.

* * *

Серобородый старик на приколе.
Складная исповедь девочки Оли.
Туч ледяная семья.
Длиться бы перечню, только доколе
Сдюжит сурдинка своя.

Звездчатый вырез в бордовом картоне.
Паховый выем на школьном фантоме.
Краска вина «Карабах».
Ветер резвится в пустой идиоме
Про молоко на губах.

Мышь молодильное дерево рушит.
Речь с непотребною глоткою дружит.
Время стучит наобум.
Лип станционных продрогшие души
в мокрый сливаются шум.

Верткий орешек пока не разъеден.
Едем? А как же? Немедленно едем.
Пыльные стекла – щекой.
Мусорным бакам и галкам-соседям
нету беды никакой,

что кровожадные травы кривые
съели значенья свои корневые
и с подоплекой земли
мы бездорожным отъездом впервые
всласть расквитаться смогли.

* * *

От школы – домой
по дороге окольной.
Промозглой зимой
перезвон колокольный,
где смотрят вороны,
как сыпят колонны
сырую побелку
на скользкие склоны.
Склоняются ветки
с леденицей вместе
к вихрам семилетки
с прибрежных предместий,
к натянутым лямкам
дареного ранца,
горящего лаком
в руках оборванца,
чье детское право
небрежного шага –
всего лишь оправа,
где стынет отвага.
В рисунке окрестности
схвачен эскизно
надменной безвестности
почерк капризный,
которую пьют,
забывая вчистую
молочный уют,
как задачу простую,
хранят, что зеницу,
не веря особо
соблазнам синицы
да верного хлеба,
и волглый налет
воспалённого нёба,
и крапчатый свод
непечатого неба.

ЗАМЕТКИ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ ДЮН

...и путешествовали праздно
у раздевалок побережья,
и у соляриев в осколках
неутешающих бутылок,
у хвойных чахлых насаждений,
не понимающих в песчаных
холодных россыпях ни гнева,
ни бесконечности, ни смерти,
у соглядатаев вечерних
густого матового моря
в запахнутых плащах и кепках,
надвинутых на лбы в морщинах,
пересекающих под осень
их неподдельные в банальном
преображении бессилья
апокрифические думы,
у скучно скроенных интрижек,
скоропостижностью курортной
не искупающих фригидность
лукавоглазой героини,
у мрачных дач начала века,
в которых гибли мемуары
о тех, кто ныне существует
такой растерзанной легендой,
что и не склеить при желании –
как пить дать спутаешь страницы,
а там – за чистую монету...
У чистых тамошних прихожих,
угрюмых сливочных хозяек,
спешащих гордо извиниться
за беспорядок из кокетства,
у отставных порядколюбов,
навечно вросших в зазеркалье
сосновой лени и презренья,
у тёмных кладбищ с именами,
на камне выбитыми смачно
не умирающей латынью,
которой что бы не писалось –
столь прямо и неоспоримо,
жестоко, мощно и с концами,
что камень кажется излишним,
ошибочным материалом,

чтоб не рассыпаться от груза
равнотяжёлых букв на теле,
забывшем смысл их сочетанья...
О флегматичные скитальцы!
Зачем, откуда и куда?..
Меня тем временем накрыла
волна обломов непрерывных
на присномоторных просторах
самозабвенной бытовухи.
Пришла пора исчезнуть вовсе.
И вот вдали от ареала
своих страстей необоримых
с исходом в грозные загулы
я, опьянев, от перемены,
зело проспавшись после пьянки
и отошедши ото сна,
смотрел внимательно на эти
сыпучебокие наносы.
Но подоплёка их стремлений?..
Сия загадка велика.
И всё оправдываться ветром,
прескверным климатом, ландшафтом –
одно, что дружбу брудершафтом
неугомонно объяснять.
И выплывает поневоле
настолько старое, что даже
и в пресловутом ореоле –
кругом сплошная седина...
О, как сентенцию поэта
с лицом уездного раввина
любила прежняя страна!
Но я хочу переиначить
Понятье “тайная свобода”,
столь подходящее пейзажу
одной своею стороной.
А всё к тому, что предо мной –
одна лишь тайна, но как средство
(причём, единственное, кстати)
свободы, сложенной в конверте
существованья, как повестка
о том, что ждут – не забывайте.
А предначертывать маршруты,
чтоб впредь следить за предсказаньем,
не то что глупо, а бестактно
по отношению к судьбе.

Когда секрет известен даже
лишь как возможность, ожиданье
ревниво бредит совпаденьем
и мир – как чайка на резьбе.
Но кто глядит сквозь неизвестность,
благочестиво полагая
в ней лишь отсутствие пометок,
готовых вскоре проступить,
тому утехой – обаянье,
как колченогая свобода –
необязательная гостья.
Наклон дерев, гуденье ветра,
песка губительная масса,
воспоминанья, узнаванья
тут совершенно ни при чём.
Ведь обаянье – средство тайны
(но не единственное, кстати),
и вся ирония разгадки
в том, что она всегда потом.
И если часто видеть дюны,
то позабудешь о смещеньи
пологоплечих исполинов
дабы подспудно убедиться
в константе хмурого величья
(за кофе утром объясняя –
что на одно и то же место).
О, милый блеф карандаша!
Неутешительность попытки
перерисовывать залива
единовременный объём –
не то что лист преступно плосок,
а правды в этом умноженьи
не может быть, пока вокруг
мгновенны травы и соборы,
пустые пристани и лодки.
И обольщаться ль хоть на йоту
их отражение иным?..
...чем распалить воображенье
как ни смещённым удареньем
эстонки с перекисной прядью
над чуть обветренным лицом
и представлять невозмутимость
как обещанье /право дело,
что безоотчётней греет душу,
чем возведение в намёк?/.

Ну так за грацию ухода
гигантов солонолюбивых –
ты не забыла зажигалку? –
и неумеренность в тщете
постичь пропорции финала –
что за капризы сибарита?
И будет, будет, молчалиня,
блуждать по кругу днём с огнём.
День так прелестно равнодушен,
со всех сторон подсвечен ровно,
что забывать его заради
присноупрямого песка
самоубийственно. А мы ведь
ещё желаем без ошибки,
язык прилаживая к нёбу,
мерло от кьянти отличать.
И если холод младоострый
шершавит вянущую кожу –
на это можно только смачно
прищёлкнуть длинным языком.
Немая готика, брусчатка,
простоволосые мадонны,
харчевни – разве стёрты вовсе
подошвы наших башмаков?
И есть резон дышать просторно
кофейной горкlostью и хвоей,
не краснобайствуя о скрипе
песка на чиненых зубах.
Пойдём – и всё неподалёку.
Я знаю место, где гирлянды
торопят выпуклые блики
по запотевшему стеклу.
И в искривлённой панораме
вовсю юродствуют предметы
наперекор суровой мере
значений канувших своих.
В морёном дубе бьются соки
прошедшей жизни. И ладони,
на стол положенные, знают
откуда этот дальний пульс.
Что обрывается без эха?
И оттого зрачкам и пальцам,
и барабанным перепонкам
времен никак не развести.
Одно из них глотком отменным

безотносительно заказа
за выгорающей грудиной
толчками балует. Но там
не вся справляется обедня.
И на пиру самостоянья
в глухом отечестве подкожном
съедобны редкие дары.
И нам намерений фривольных
перед коротким переходом
менять не стоит ли на йоту.
Ну что, любезная, идём?..
...однако ангелы разъяты
знакомца числили в запасе,
и потому настал черёд –
замкнулись дальние прогулки
на железнодорожной кассе,
и ночь вошла в её окошко,
предупреждая, что потом
уже не будет поселенья,
на незнакомом берегу.
Но мне беречь в анналах странствий,
побегов, снов, переселений
нет проку этот отдалённый
пропахший солью окоём
ладони влажной великаньей
в натертых воздухом мозолях
(я не великий хиромант).
И только помню: напоследок
вдруг несказанно удивила
большая ветхая картонка
с подробным выверенным планом
путей и станций остановок
и с приложением типографским
о датах, ценах, пересадках,
конечных пунктах путешествий
и даже строках – до минут –
их достиженья при желанье...
Не правда ль странным искушеньем
меня бесстрастно провожало
песчаногорбое ненастье?
Кто ведаёт?..

* * *

Жене Дмитриеву

Рыдает радио, икая
Пылят штабные тополя.
Оно, бог весть, война какая,
который порох, чья земля.

Паёк казённый. Сахар кислый.
Сухая сталь на языке,
что нянчит утренние числа
потерь и вышек вдалеке.

Средь лейтенантских околесиц
не худо, право, по одной,
пока звезда и полумесяц
маячат в дымке нефтяной.

Но сносный тост ещё не вызрел.
К словам не подойти на выстрел.
Речь попаданьями бедна.
И голубь виснет над станицей,
и водка киснет над страницей
о том, что пагуба одна.

Все времена забыты разом.
порядок страхом отменён
неосмотрительным приказом
ценою выбывших имён.

Что случилось раньше или позже,
всё куча, стало быть, мала.
Хромой пегас натянет вожжи
и перекусит удила.

И безлошадный, в детском раже
перегорит усталый Марс,
чтоб не случившееся раньше
спокойно выпустить на марш.

Чтоб прирасти к прикладу телом,
заметив белое за белым:
цветёт ли в облаке душа?
Чтоб атеист или ботаник,
забыв про семь вчерашних няnek
в восьмую целил не спеша.

* * *

Я песней как ветром наполнил страну...

А.Прокофьев

От ветра, наполнявшего страну
и за струною рвущего струну,
себя запрятал дальше в глубину,
как будто неизбывную вину.

А прожил так, как будто ждал прощенья.
И не касались перевоплощенья
ревниво охраняемых орбит.
Всего и слез, что богом позабыт.

И снег кружился. Почки проступали.
А что ему в дарованной опале?

Валились листья. И кружился снег.
А что ему дарованный успех –
сорочье заказное торжество
во славу неизвестности его?

* * *

Краем стылого пляжа трусцой не спеша
в предрассветном туманце влечётся душа –

сухопутная кошка, морская змея,
с позапрошлой недели отчасти моя.

Сигаретные будни, кофейные дни
Подвигают размять спозаранку ступни.

И спросонья как зомби сопутствую ей
в янтаре санаторских прибрежных огней.

Им досталось высвечивать медную масть
непричёски, готовой на плечи упасть,

наблюдать, как темнеют двойные следы
у изменчивой кромки холодной воды,

как в сыпучем нигде, ни жива, ни мертва,
обрывается их роковая канва,

размыкается мрак, словно мнимая смерть,
отворяя до неба и море, и твердь.

* * *

Вот и вишен почти не осталось
в детской миске, где стерлась эмаль.
Не спеши, пораскушивай малость –
уж на что, а на это не жаль

в наползающих сумерках жизни,
допоздна шелестящей в саду.
Соком вымажись, мякотью брызни,
в темноту оступись на ходу.

Острый воздух разгара сезона
как дразнилка дрожит на губах.
Если помнишь: “Держи фармазона,
шито-крыто, бабах-карабах.”

И бессмысленным счастьем пострела,
обожателя абракадабр -
черной ягоды спелое тело,
юной ночи нечаянный дар.

И по дну оголенному шаря,
на подушечки пальцев дыша,
улыбнется прощально и шало -
дескать, вишня была хороша,

пустяки, что не выдался случай
задержаться на этом пиру
с темной радостью, сладостью жгучей,
чутким сном в грозовую жару.

Патрон четвёртый

«Чуешь, скоро начнётся, - кисло констатировал двоечник Кукуев после уроков, без энтузиазма глядя в окно, - слетелись, вороны». Они и вправду были похожи на этих недобрых птиц – чернявые, насупленные, раскрывшие свои чёрные мастерки. Плотно расселись на перекладине школьной изгороди как на насесте и молча ждали. Их было столько, что в глазах чернело. «Булыжник – оружие пролетариата. А чем вооружиться невольникам среднего образования?» - обречённо спросил Кукуев. Отвечать ему никто не торопился. Переглядывались, медлили, сморкались. Выступить – безумие, и отступить – не вариант. Как друг другу потом в глаза смотреть? Безвыходность, говорите? Что ж вы, ребята! Сами знаете, выход из школы один...

И вдруг из входной двери возник широкогрудый большелицый человек в смертельно белой рубашке. Она развевалась на ветру словно знамя. Вокруг пылающих глаз летали редкие волосы, короткие ноги вращались в щербатый камень высокого крыльца, изо рта грозно валил нутрянной позднеосенний пар. Человек стоял недвижно, молчал тяжело и только глядел пристально. Выпуклый лоб и литая челюсть волнорезами рассекали обжигающий накалестый холод. Немая ярость резкими пятнами румянила кожу, краткими судорогами сводила надскуля, удавками вен опутывала шею. Внезапный сгусток кромешной угрозы готов был разъять всякого на пути шаровой молнии упреждения...

Они отступили не потому что узнали. Да это их бы и не остановило. Они сразу уловили чуткими потрохами своими дыханье того огня, что свиреп бесповоротно и силен успешки. Только дыхание – и они повставали вразнобой, поёжились, морщась, попятились, оступаясь. А потом чёрной стаей поплыли прочь, сплёвывая и не оглядываясь...

А когда вернулись мы глазами к крыльцу, на нём никого не было. Словно привиделось. И неведомо теперь, жил ли въяве огнеокий директор, что за пламя пожрало его, где развеялся этот предзимний дым...

«Чуешь, скоро закончится», - вещает, не глядя в глаза, Кукуев, встретившись на остановке. Машет рукой и прыгает в автобус. Общественная развалюха натуживается и оставляет за собой облако, которым дышать невозможно. Но кроме ничего нет.

* * *

На шифоньере шкипер с трубкой книзу –
морская спесь на гипсовых губах –
глядит как голубь ходит по карнизу
и смотрит внутрь, осиливая страх.

Ему не слышно, как перед рассветом
бежит волна по чашечной воде,
и обитатель комнаты об этом
не упомянет в записях нигде.

Когда перо, разобранный и смирный,
Он пускает на белесый лист,
не дышит соглядатай сувенирный
и стынет голубь, светел и когтист.

Им хороша трава морей и неба,
ночного света стебли и цветы.
Гонитель сна ,едок другого хлеба,
примерный соплеменник нищеты

среди рядового мрака маракует,
мурыжит речь на краешке стола,
на воду дует, с ложечкой кукует
и ,что на небе, смотрит, за дела.

Водоворот глотает воровато
придонный сахар в разовом тепле,
чтоб кровь голосового аппарата
вращалась как пластинка на игле.

На ней гуденье раковин в глубинах,
сквозное эхо в россыпи пустот,
ночных, надмирных, водных, голубиных –
вибраций временной противоход.

* * *

Ослабли стылые метели.
Март обозначился едва.
Как мы с тобой переболели!
Кто знает, в чём душа жива.

И оттого невероятно
воздушной сини глубина.
Скупые облачные пятна
съедает запросто она.

В зрачках мерцает недоверье.
Вчерашний свет ложится ниц.
Играют радужные перья
у самой призрачной из птиц.

Мятежна здешняя погода:
на безнадёжном рубеже
такого дерзкого исхода
не ждали, в сущности, уже.

И всё друг друга укоряли
эпохой подлых перемен –
куда яснее за морями,
а тут – лишь хляби до колен

и всё судьба не уродиться
зерну пшеницы иль овса...
А вот горит перо жар-птицы –
И в каждой луже - небеса.

* * *

Не сон ли, что в прежнем режиме
ночами сменяются дни.
И жили с тобою, не жили -
к утру только слёзы одни.

И вся режиссура природы -
Радение сдать в никуда
Любого из нашей колоды –
разборы не стоят труда.

А недоумения эти -
не нам, а главрежу извне -
о глупом выбытии Пети,
о катинном тёмном окне.

И сердце – как будто из ваты,
и скулы - в холодном поту:
пейзажи, они слабоваты
всерьёз восполнять пустоту.

Для новой, как будто бы, пьесы
вся сцена освобождена.
Но поиски юной принцессы
кого оторвут ото сна?

* * *

никак чумовой не припомнить прищур
 шашлычника что заломил чересчур
 икоту джигитского гида
 с утра накурлыкался гнида

лимон и вино базилик и гранат
 сомну календарь перевру маринад
 имбирь ли гвоздика корица
 кодор кармадон или рица

дорога петляет и пазик летит
 завидный гуляет внутри аппетит
 прелесна соседкина робость
 срываются камешки в пропасть

цеди анекдотец недельных тургрупп
 ты слишком застенчив от этого груб
 сверни с пикировочки рваной
 на встречу с вечерней нирваной

там танцам не верится в свой окорот
 кассета сан-ремо и крашенный рот
 наглеют ночные цикады
 и дурно во рту от помады

и черная к горлу подступит вода
 купаться под утро ещё никогда
 ни дна не видать ни покрышки
 лишь глаз заполошные вспышки

глаза не труди не воскреснет лицо
 всё звёзды внавал и наезды кацо
 и сон на носу у рассвета
 и бредни о сдаче билета

туда где дуркует в ребре седина
 и клинит крутого курца с бодуна
 в иные пределы целую
 отстукивать напропалую

и хмели нема и сунели увы
 ни сумерек с привкусом пряной халвы
 ни тени платана с айвою
 над смутной его головою

* * *

Мы запальчиво дышим
 на краю сентября.
 И питаюсь кишмишем,
 понимаем, что зря
 собирались неспоро
 опасались пальбы
 по пятам разговора
 про войну и гробы.

Крепнет месяц двурогий –
 на боку испокон –
 над прибрежной дорогой
 прямо в Новый Афон.
 Нет дыханью преграды
 в искротелом поту.
 Сатанеют цикады,
 тормоза темноту.

И на вдох, и на выдох –
 виноград по лицу –
 весь в надломах и видах,
 будто дело к концу.
 Будто все перестрелки
 отошли во вчера.
 И сомнения мелки,
 чтобы вспомнить с утра.

.....

Потных ягод на блюде
 хороша зеленца.
 Что за бедные люди –
 ни на ком нет лица.
 Вся курортная туса
 не в ладах с головой...
 Ноет место укуса
 словно след пулевой.

* * *

какая с нами тьма простилась
какой повыветрился свет
не поддавайся сделай милость
тому чего на свете нет

тому что в горле бродит комом
и как миндалины болит
а всё в диагнозе искомом
лишь катаральный тонзиллит

но оттого ль не молвить слова
в огне гортань в ознобе кровь
перебиваешься и снова
не получается и вновь

карбид профкомовская ёлка
всеклассный грипп фруктовый крым
не отыскать уже осколка
обёртки блёстка будет им

по дошлой памяти носиться
на остужающем ветру
вино гвоздика и корица
и значит весь я не умру

назло глухой температуре
что валит походя с копыт
на выцветающей натуре
в краю что богом позабыт

* * *

Будет бодаться, будить, говорить напролом
речи выкручивать яростно все сочлененья.
Ангел ущерба качнёт безотчётным крылом,
дабы забылись бессчётные те сочиненья.

Ангел разъятая утешит лукавую плоть,
всё устаканит в нарушенном миропорядке,
дабы беспечный господь не забыл прополоть
присных усилий несметные сорные грядки.

Стебель нечаянный лишь и останется на
бруствере сохлом среди опрокинутой яви,
поля ребяческой брани, как будто она
правдой жирна и служить оправданием вправе.

Цвет беспризорный, ничей, ни за что ни про что
в полупустыне вчерашней гордыни и ветра
грянет угрюмо, и время уйдёт в решето
жадной земли, и кроты закричат безответно.

По недогляду, на жухлом суглинке, один,
сбудется он под замызганным небом печали,
ангелам дик и подземной братвой не судим,
Будто ему жить за всех испокон завещали.

* * *

Озноб весны респираторной.
Огняк в общественной уборной.
Дворов сырая темнота.
Поход в ближайшую общагу.
Любезна бравому варягу
и эта пассия, и та.

Летают шуточки над бездной.
В окне чернеет свод небесный.
Дымится скверный никотин.
И на хранилищах печали
никем не сорваны печати.
И всё кураж неукротим.

Бушует дикая причуда,
что будет высверк ниотсюда,
ночная спичка, верный знак,
девчачья резкая усмешка –
и враз орлом очнётся решка,
рублём обломится пятак.

Восторга доза великанья
на расстояния дыханья.
Вот-вот расплавится мотор.
В зрачках гремучая подначка.
В ладонях скомканная пачка.
Луна шальная из-за штор.

Мерцала жидкая заварка.
Мигала жирная товарка.
Для крови плоть была мала.
Но сколь не выгадалось знаков,
закон сбывался одинаков.
И ночь по-чёрному цвела.

Всё до утра огня просили.
И, отыскать его не в силе,
атаковали время вброд –
те спички напрочь отсырели
в отпетом ливнями апреле.
И мая не было в тот год.

* * *

ау амуров майских вакса
на небесах страны беды
и увезти затравка ваша
как николя спевал бельды

какие тундры руды дали
грозили горестным перстом
как на скамеечке рыдали
и пили горькую потом

и потупляли очи долу
чтоб выдать правильный ответ
очередному пиздоболу
сегодня можно или нет

и зелень крепнувшим курсивом
обозначала здешний парк
красивым мерином но сивым
и сам такой курил табак

а ну как черт из табакерки
случалось прочее еще
глотали глупые таблетки
вот дескать вам через плечо

какая в этом интересе
прожилка жизни говорит
и лишь желудочные рези
и реактивный гингивит

яснее солнце сердце краше
и все линуется с нуля
не расхлебаешь этой каши
ни до того ни опосля

румяный май в размере мира
подъездов редкое амбре
любви замедленная мина
на свежекрашенной жаре

и пусть мерцало черным устьем
и был исход неоспорим
но то что в будущем опустим
и по старинке повторим

что если мама мыла раму
и в речке мячик ерунда
не станем пестовать как рану
свое нагрудное тогда

* * *

упрямо кривая вольфрама
в сырой промышленности ночи
как будто подзорная фара
с пожарной глядит каланчи

как будто бликует булыжник
неведомой нам мостовой
и режет рукой чернокнижник
причудливый пламень живой

и рушит вода дождевая
стекла световую игру
осеннюю ночь доживая
чтоб высохнуть вдрызг поутру

резвится стервец и насмешник
над кипельной плотью листа
пока умирает орешник
и смерть словно пламень чиста

пока догорают пожары
обид и больного ума
и неразличимы стожары
снаружи небес и кайма

простёртой до неба завесы
с прожилками ламповых дуг
и чьи не прочесть интересы
пасёт безъязыкий пастух
заводит созвездия в доли
беды и ненастья в настил
где вспыхивают глаголы
навстречу комплоту светил

и сучьев промозглые жилы
впотьмах окаймляют дымки
и вольты настольные живы
текучей воде вопреки

Патрон пятый

Лёгкая июньская духота, просторная негустая ночь, волновой лиственный шелест. Редкие фонарные перемигивания, близкие блики водохранилища, запертые пивные палатки. На асфальтовой дороге вдоль дамбы – никого. Но темнота полна жизни. Вспыхивают на неостывшем ещё пляже весёлые сигаретки, летят над песком короткие смешки, у самого берега запинается транзисторная музычка. То там, то здесь дразнящее ночное закулисье исподволь являет себя, сходу воспаляя карапузью башку. И горят щёки, пересыхает рот, ширится горловой ком. Оттого идёшь всё быстрее и быстрее. И взбегая на горбатый мостик, оглядываешься: не осталось ли за спиной что-то по растяпству пропущенное и самое пленительное.

Выпускной два часа уже как отгремел, училище опустело, арендованный в двух шагах от него кабак закрылся. И юные лейтенанты, пьяные своим свежим званием, разбрелись розно по окрестным зарослям. Забродили с порывистыми подругами, полными брачных надежд, по следам повзводных своих ежерассветных пробежек. По пояс голыми, в сапожищах, над сонной студёной водой. Веки слипаются, котелок гудит, под ложечкой сосёт. Мышцы ноют, суставы трещат, подреберья стреляют. Но нужно, нужно бежать к офицерским, малым и таким неблизким звёздам...

Девичье щебетанье, взрывы хохотка, красноречивые паузы. Бутылки из-под шампанского, шоколадная фольга, презервативы. Головокружительная неизбежность скорых перемен, любезный сердцу железнодорожный сквознячок грядущего отпуска, захватывающая пелена бравого продолжения.

Откуда-то из прибрежных дворов взвивается вдруг самопальная ракета, на полминуты выдёргивает из темноты крашеную, растрёпанную по лбу чёлку, впившиеся в парадный китель наманикюренные пальчики, валяющуюся на боку туфельку. А потом всё гаснет: и пацанья совсем ухмылка с претензией на тайное знание, и сбившиеся потные бретельки, и острый хрусталь невесть откуда взявшихся на лавке фужеров. Властное, чёрного камня небо заполняет зрачки...

И теперь можно лишь слепо прикоснуться к полуночному агату – гладкому, вороному, сплошному.

* * *

Что чайки шумные кричали
Сквозь остервенелый прибой
Двоим на бетонном причале,
Готовым к расплате любой?

О чём исступлённо просили
Над кромкой воды и земли
Заведомо бывших не в силе
Увидеть что-либо вдали?

А может быть, предупреждали
О том, что в начале зимы
Разводы увиденной дали
Едва ли спасительной тьмы.

* * *

кого зовут тот ускользает
что называют исчезает
пуста воздушная волна

сквозной язык пленён добычей
с воловьей волей силой бычьей
он умножает имена

коварством лисьим и крысиным
грозит овинам и осинам
несмелой тверди здешних мест

и речь как вечная пиранья
вне рифм и знаков препинанья
сырое мясо яви ест

* * *

Нелепой любви отпечаток
на полубезумном челе.
Проходит, не снявши перчаток,
в крайнем чухлом тепле.

Глядит безрассудно и дико
сквозь дым в законную муть,
пока западает гвоздика
тряпичной башкою на грудь.

Прикид возмутительно броский.
Предательски детская статья.
Дымит и дымит папироской,
пугаясь от жизни отстать.

Не слышит с десятого раза,
о чём говорят за спиной.
Да что ей дурацкая фраза
о жалкой гордычке блажной?

Подумаешь, не обломилось
судьбу миновать наугад,
зато уготована милость
на дымный дивиться закат,

молчанью в трубе удивляться,
являться врасплох без звонка.
Выслушивать полупаяца,
Запястьем играя слегка.

Разорное рваное пламя –
что свечку-обмылок в чулан –
над пыльными висить углами
да воском кропить по углам.

И видеть не тусклую змейку,
туземный её перепляс,
чумазую малосемейку,
а пепел презренья у глаз.

* * *

Посиделок по кухням растаял галдёж.
Размалиненных спорщиков скисла слюна.
Пробегает предутренней трезвости дрожь,
от братаний ночных остывает страна.

Остывает от песен струна на колке.
Остужаются сны в никаких головах.
Не спросясь, уплывают себе налегке,
Леденеют, бледнеют и меркнут впотьмах.

Воцаряется холод, дымится мороз.
Пробирается стужа по старым дворам.
Западают сердца приподъездных берёз.
С коченеющих веток слезает кора.

Вихревым нождаком зачищается жесть
неподсудного солнца, подспудного дня.
Всё что было – бело. Всё что сбудется здесь
заметённому за ночь ничуть не родня.

Никакая не ровня, не шалая ветвь
перемёрзшего дерева прежних удач.
Ничему не укор, никому не ответ,
ни прощальная речь, ни бессмысленный плач.

Подрастающий иней на тусклом стекле,
где повыжжены намертво страх и печаль.
Свет небесный в морозной колючей золе –
обложная оконная ровная сталь.

* * *

Стишок учи, мотай на ус
бенгальских вспышек, женских бус
все нити и оттенки.
А следом – кривле – крабле – бумс! –
и тень растёт на стенке.

И выговаривай слова
в настенный плоский мир сперва
во весь серьёз не веря:
сердитый ангел ли, сова,
сырая грива зверя?

Огня кривые языки?
Чело всклокоченной реки?
Обрывки листьев в стужу?
Тоска оскоминной строки.
Горючий взгляд наружу.

Там снег седой, судок с едой
висит как месяц молодой
в оконной окантовке.
И всё бубнишь как заводной,
пока грозят потоки

бесшумных сумеречных сил,
как липкий дым, упрямый ил,
накрыть гостей и ёлку,
как будто кто приговорил
к утечке втихомолку

смолу ствола, задор отца,
дозор созвездия Стрельца,
затею жить на свете
четырёхлетнего чтеца
на драном табурете.

* * *

как ни мети а на улице грязно
шапка гореть на вору не горазда
глотки трудить петухам не с руки
вот отыскались ещё дураки

что за здорово орать спозаранку
плёвому пню иль пролётному танку
да перекрикивать чью-то стрельбу
видели счастье такое в гробу

как ни шути а насуплена ряха
звери давно разбежались от страха
ухает воеет сигналит дымит
гульбище ржёт или бьёт динамит

да оно мало ли что за потеха
гаснет и самое честное эхо
на смех окрестным укромным курам
незачем им по волнам и морям

как ни дури а морока такая
что по ночам никакая другая
дым ледяной не вольёт тебе в грудь
выкоптит память и выстудит грусть

как бы иначе и паче короче
перебороть бесконечные ночи
дабы прогорклую выдохнуть взвесь
гари и пороха радости здесь

* * *

Боре Писаренко

Друг ты мой, не сиди в интернете –
прозвониться тебе не могу.
Сладко спят неразумные дети
на притихшем родном берегу.

И во сне сыновей первою,
в забытии дочерей октября,
холодком ледяным овеваю,
невесёлая брезжит заря.

Вяло чертит по серому серым.
И поди, друг ты мой, различи,
над каким это эсэсэсэром
цепенели сычи-кумачи.

Эти замертво выпали годы,
выцвел шёлк, закуражился дым.
По наводке усталой природы
стало модным уйти молодым.

Да оно и у Мёртвого моря
напряжёнка с живою водой –
если жить загадаешь без горя,
то обнимешься с пущей бедой.

Во всемирной умри паутине,
в раскалённых воскресни песках –
о господнем печётся о сыне
с белым пеплом на впалых висках

даже тот, кто по дури вращает
тщетный диск на потеху судьбе,
пропадает, а всё не прощает
ничего ни тебе, ни себе.

* * *

Негодника, чудного перебежчика
Атлантика воркует за спиной.
Подсветка сна, никчёмного и вещего,
в башке не унимается смурной.

Сквозь вечера, цикадные и чадные
(не тороват на холод Фаренгейт),
плывут кручины и причины частные
в один конец заказывать билет.

Лоснится солнце спелое и смирное,
на восемь ошибаясь поясов.
И может статься, вся печаль надмирная
уйдёт в океанический песок.

И может сбиться робкое пророчество,
что, может, всё оно и ничего –
глядишь, и не понадобится отчество
в землистосинем паспорте его.

И стоит продышаться от испарины,
и запылит поденное житьё –
орёл прилежный, точно кочет жареный,
и тут клюёт седалище твоё.

Не запинаясь, торопись, опаздывай.
А станет сниться – так потом пройдёт.
В каком-нибудь Воронеже на Газовой
вспоманет друга местный идиот.

И наизусть приبلудным сотрапезником
прочтёт из недослушанного здесь
про то, что спета утренняя песенка.
И точно сон промчится вечер весь.

ЙЕЛЛОУСТОУН

горбатые гризли собаки бизоны
выходят к шоссе словно зеки из зоны
и взор устремляют и песню поют
про трудности севера и неуют

подумаешь север видали и хуже
а тут безнаказанно можно из лужи
а то и какого случится ручья
и поило под боком и хавка ничья

а если закинуть какое удило
пока не протёрло гляделки светило
как глупые звери глотая слова
наладятся окунь и линь и плотва

заботу разведать чела над водою
и личной своей поделиться бедою
недужную душу прозреть рыбаля
а после в судке докумекать что зря

в узде не удержишь чужого желудка
и всё же какая-то пошлая шутка
пасть под надзором коситься на свет
а туту отправляться козлу на обед

а что бы не жить полагаясь на случай
и ладно что изгородь будет колючей
не всюду тесна и стоит не везде
и вилами писано всё на воде

оно по любому судьба на подгляде
не то чтобы с ружьями шастали дяди
а время творец оттого распостёр
чтоб виден был всякий енот и бобёр

* * *

Лёне Шведову

За границу эмэйлы твои летят:
 «Мальчиши, салют вам и «Абсолют».
 Зуд уездного буки, ревнивый скупой догляд
 одного из сказки вынутых чудо-юд.

Марш-бросок вдоль проспекта – и ни души
 из когда-то по танцам-кафешкам здесь
 бумбарашившим впроголодь. Хороши
 студиозусов нищий размах и спесь.

Сыро в сквере у тира, у памятника царю.
 А соседке его скамеечной – всё трава.
 «Ничего, что с Вами заговорю?
 Жизнь, она подшучивать здорова.

Ни черта не стоит ей, дурочке, наобум
 сдуть как пух с ладони, пустить враспыл
 весь шурум-бурум, кураж, непотребный шум
 тех, кого как выглядят, позабыл.

И просторно глазу стало зато оплечь.
 Можно всё-про всё рассмотреть, хорошо сказать
 безупречной брюнетке чудную речь
 надавить на жалость, польстить в глаза.

Было–сплыло и весь донжуанский хлеб
 (Вы, надеюсь, не против раскрытых карт?).
 Много всяких у всех городов и неб.
 А чуть что – лишь слегка обернись назад –

и тебе открытый для муки взор,
 и тебе улыбочка на твою.
 Знаю, знаю, утрирую – перебор.
 Только, как ни крутите, на том стою.

Дай-то Бог, чтобы праздники задались.
 И не переглотать у любой черты
 непогоды живую сладость, надежды слизь,
 переходя, наконец, на «ты».

Ведь от этой у тира сырости никуда.
 А по этой ретивой старости поделом
 опрокинутый радовать календарь,
 становясь полноправным его числом».

* * *

Вот-вот наскучит парке тьма чуланья...
1984г.

Неясный штемпель на конверте
и пусто-напусто внутри.
Чем не эпиграф к теме смерти?
Возьми да номер набери.

Спроси, достань отдел доставки
ближайшей почты через дом.
Твои уловки и атаки
там будут поняты с трудом.

Происхождение посланья
пребудет мнимо и темно.
Когда наступит тьма чуланья,
Ничем не определено.

Едва ли парки в курсе дела.
Им подобает до шести
в суровом сумраке отдела
не знать, а ниточку прясти.

* * *

Огрузлый август задрожит,
прилежной ржавчиной прошит,
затравятся ветра.
И реже станется уже
погожий день на рубеже
меж присно и вчера.

В пустой тоске заподлицо
катать укромное словцо
вчерашнику с руки.
Скрести небритую скулу,
упрямо пялиться во мглу
с ладони у щеки.

И видеть транспорт гужевой
за пеленой предгрозовой
в окрестном сосняке.
И всё ж немного погода
успеть до позднего дождя
промяться налегке.

Проделать сумеречный путь
до станции какой-нибудь,
забиться под навес
и долго слушать тёмный шум,
как будто выгадает ум
грудную речь небес.

И занеможется стволам,
что с постояльцем пополам
косую сырость пьют,
и растревожатся верхи
грозой с неведомой реки
на несколько минут.

Патрон шестой

Из глубин тусклого подрагивающего экрана по-черепашьи выползали бронепанцирные танки, словно цапли вытягивали шеи тонкоствольные орудия, ёжиком парадных штыков щетинились пешие ряды. Точно прошлогодние грибы темнели на гранитной трибуне главные начальники в широкополых шляпах. А рядом что майская роца пестрел Василий Блаженный.

«Да брось ты ящик изучать, - ворчал из ванной отец с мылом на щеках, - в окно погляди : там веселее». Подходил и видел, как тысяченогая гусеница-колонна с крапинами транспарантов упрямо ползла от реки. Она прилежно повторяла коленца прибрежных улочек, капризы столпившихся пригорков, крутые зазубрины каменных лестниц. Будто ей обещана была верная пожизна, и разыгравшийся аппетит мёртво тянул её в сомнительную даль.

Рассвет по-хозяйски ширился над противоположным берегом. Облака по краям румянились как пирожки на праздничных лотках. Несметные флаги лениво змеились над мостом.

«Что же тут весёлого? – думал я, - чем здешние человечьи гусеницы лучше телевизорных танковых? Всё одно ни тем, ни другим – как ни расцветивайся и не пыжься – не обернуться ослепительными бабочками с их непредсказуемыми воздушными маршрутами – фатальными, прихотливыми, завораживающими. Без обещаний, надежд, разочарований. По мгновению наитию, стечению ветров, раскладу тени и света».

«Папа, а ты собирал бабочек, когда был маленьким?»

«Когда я был маленьким, я ходил на демонстрации и не забивал голову глупостями».

И мы одевались щегольски, торжественными селезнями выплывали на проспект и растворялись с предательски лёгким сердцем и без остатка в ровном живом течении. Ярконебесный день играючи набирал обороты, световые волны мускулисто пульсировали в глазницах, любительские голоса духовых наслаивались на густой гомон. Солнце бушевало, трубы неистовствовали, репродукторы орали. Перед глазами вращался огромный искрящийся сгусток, неосязаемое звучащее вещество, неведомо что – крапчатое, сверкающее, без форм и границ. Оно заполняло собой площадь, город, небо. И виделось, как и здесь, и там мелькает пёстрый узор блаженных бабочек, кратко выныривают их резные крылья, кувыркаются плоскобрюхие тела...

И я останавливался, нарушая поток. И больше не видел уже ничего.

* * *

Ужин дачный на участке у межи.
Светляки, клубника, рассказы, ежи.

Тени лиственной стирающийся край.
В города перед компотом поиграй.

Поплывут среди порыжевших низких крыш
Прага, Вена, Филадельфия, Париж

к неисправной водокачке в сосняке,
к запоздавшей электричке за мостом.

Пух по ветру, паутина по щеке,
свет по веткам в угасании косом.

И под дедовское чтение газет
от каникул и ещё один денёк
отступает за веранду, за клозет
и в костёрный превращается дымок.

Мировые точит зубы капитал.
Всласть военщина ослушников щемит.
Тот борзел, тот напряжённость нагнетал,
потому как проститутка и наймит.

Как дымит, как изгаляется сушняк
пеплом высветлить темнеющий июнь.

Усмань, Масловка, Маклок, Коротояк.
Покатай во рту согласные да сплюнь.

Сырость ранняя с подлесковым душком.
Это облако садится на сады.

Смерий улицы заросшие пешком
от крылечка до протухшей до воды,

до сторожки, да смотри не забывай
дальных весей, мнимых далее имена,
чтобы будущий баян или абай
сбацал песню про такие времена,

где обрывки подростковой болтовни
выдавали карту завтрашнего дня
и отеческие тщетные огни
нас от завтра берегли как от огня.

* * *

уже и не вспомнить навскидку
в котором к примеру году
стряхнули никитку как нитку
тишком с рукава на ходу

когда передумали реки
на север по-старому течь
когда в пиджаках человеки
с трибуны корючили речь

когда была снова здорова
впотьмах транспарантов заря
и супились танки сурово
на дне выходных ноября

и сердце колёсная белка
в бутылочном счастье снов
на силу держалась как целка
когда у ворот сердецелов

и позже когда отворили
и дальше когда понеслось
когда уже было не в силе
не пелось ему не спалось

парадные числа забылись
любимцы в парадных спились
прицелы у техники сбились
рога недотрог расплелись

обратное зренье что дышло
и то оно правда и то
и что же из этого вышло
коню по фасону пальто

судить своему перепало
копытиться фыркать нудить
хватило ему или мало
ему самому и судить

* * *

Тучи, наползающие косо.
Лавки, гравий, флигель угловой.
Ломкий голос, злая папироса.
Милость и листва над головой.

Запросто увиденные лики
в лицах улиц, в одури домов
с вечностью почти равновелики
среди густых отеческих дымов.

Берег, ускользящий от взгляда.
Давний пепел в нынешней горсти.
Непреодолимая услада
младость прогоревшую нести.

Где прочтут сухой и невесомый
этот вестник светлой суеты?
но безумье – ласковой соломой
мальчикам с бессмертием на ты.

И возникнет будто ниоткуда,
выплывет совсем не навсегда
дальний профиль, робкая причуда
гробовая дикая звезда.

Только не отбрасывают тени
здания, глядящие поверх
призраков пленительных смятений,
ослеплений, перекатных вех.

Всё равно у флигеля на лавках
можно при желании найти
бабочек столетья на булавках
с их багрянцем, выцветшим почти,

тех, которых завтра сдунет разом,
вырванных из ряда на авось,
никаким не верное приказам
время, проходящее насквозь,

чтоб за новым дымом, прежней мглою
упокоил истину свою
город, ставший ветром и золою
у простывшей крови на краю.

* * *

Поделом тебе – кончились все припасы,
пчелы вымерли – в дуплах черно и глухо.
Жизнь отшибная, шпанские прибабасы –
волчьи ноги, собачий нюх да кабанье ухо.

Прозябанье зяблика, беличья суматоха,
страсть крота, червяка земляное зренье –
кровь свернулась, выветрилась эпоха
слушать листья, перебирать коренья.

И уже пришла пора обернуться ветром
по угодыям прежних своих знакомых,
кожной дрожью, облаком безответным,
сном пернатых, прихотью насекомых,

ранним сполохом, воргуля волглым бликом,
слабым светом в тесных лесных прогалах,
чехардой теней в разнотравьи диком
чередой огней на заимках малых,

редкой искрою перескочить вживую
в круговой разбег поднебесных токов,
жизнь-обжорку, чушку сторожевую
подкупив плодами ее уроков.

* * *

Икс невзначай скончался. Это его проблема.
 А другой от живой супруги ходил налево.
 Приобрёл букет. И отнюдь не роз.
 И кому вся печаль достанется – это его вопрос.

Ну а третий выдоился, поистёрся.
 Не осталось ни форса при нём, ни ворса.
 Засучив штанины, облазил он полстраны.
 Но у каждого нынче свои штаны.

А бог весть какой по большому счёту
 не уймёт ничем привязчивую икоту.
 Будто кто-то помнит о нём, горячо глядит,
 как слюна из глотки его летит.

Снится въяве, мнится ему умильно,
 словно кто-то любит всех помогильно.
 Источает свет, посылает весть.
 И бог ведаёт, может быть, он и есть.

Близь разъятъя, соблазнов двоякий список.
 На помин убогому горсть ирисок.
 Божий день, обиженный синевой,
 пробежит в забвенье по часовой.

Время рухнет. Вразброд разойдутся блики,
 Безвозвратны и этим равновелики.
 Разлетится по ветру их букет
 из безумных и невосполнимых лет.

Числа выцветут. Эта седа досада.
 Гаснут розы в груди временного сада.
 Свет легко усмирится в логове темноты.
 И успенье ласково с тобой говорит на ты.

Игрек слюнит сигарку. Это его уловка.
 Рядом играет радио и гомонит столовка.
 Гуща на дне горчит – остатки всего дороже.
 Игрек сидит-молчит. Что это было всё же?

* * *

Кукуев побежал за коньяком.
Он не жалеет больше не о ком.
И только чуть о том, что денег нет.
А стало быть, жратвы и сигарет.

Такая бестолковая зима.
Все бабы дружно съехали с ума.
Все ёлки полиняли как одна.
Душа лишь на похмелье годна.

Светила не жалеют огонька,
чтоб высветлить дорогу до ларька.
Обломисто устроен этот мир –
ни бабок, ни любовей, ни квартир.

Лишь небосвод прекрасен как всегда.
Сверкают ледяные провода.
Всё, верно, образуется к весне –
он видел крысу лысую во сне.

Она водила носом не спеша.
В глазах играла жадная душа.
И были откровенно хороши
ребяческие выходки души.

Он выпьет полстакана по глотку
под кухонное вечное ку-ку,
поймёт, что надвигается восход.
Такая рань! Такая жизнь грядёт!

СКВОЗЬ ГРИПП

1.

Его фарфор щедро искрил на свету
 как будто за поцарапанным сервантным стеклом
 исправно горел иной день,
 где упитанный бургер в колпаке
 под руку с румяной хозяйкой
 гуляли у приземистой ветряной мельницы
 вдоль узкого зеркального канала,
 мягко ступая по вычищенной брусчатке.
 Тонкая талия и крутая грудь –
 не помню кто подарил его отцу –
 в воздушной глазури, с бутафорскими трещинами
 и тёмно-синей надписью “Holland”.
 На влажных лужайках
 лоснились выпуклые тюльпаны,
 вокруг тонкостенного горла колосились поля,
 а кривое северное небо
 глядело то аквамарином, то бирюзой,
 подразнивая ускользящим колером.
 Его загнутый книзу вопросительный клюв
 без подсказок учебниковой географии
 цеплял и тащил по строгим игрушечным угодьям,
 педантично возделанным газонам,
 утренним цветочным рынкам,
 кислым сыродельням,
 смолистым столярным мастерским...

...О, это памятное взбегание по лестнице –
 из школы, быстрее, быстрее –
 и подушечный пух за распахнутой дверью
 вперемешку с бельём из недр шкафа
 разлитые чернила, пузырьки,
 перевёрнутый подсервантник
 (домушники, смею заметить, не слишком разбогатели)
 и по всей комнате – разнокалиберные черепки,
 когда-то бывшие страной небывания.
 Но это было потом,
 когда отблески уже пригасли, белизна потускнела,
 лёгкие линии подёрнулись лишним налётом.
 Поэтому вместо пустой жалости
 в ученике 5б играло любопытство.

Он переступал через завалы
и жадно оглядывался
в поисках совсем других государств,
куда загодя переселился
прихотливый свет обречённого кувшина.

2.

Чёрный обвисший капюшон тощего палача,
шагающего по неприветливым улочкам
то и дело мелькает на жёлтых страницах
в изодранном дедовском коленкоре.
В корчму, в корчму!
Востроносая голова неудержимо дрожит,
востроносые башмаки предательски хлюпают,
прибрежный ветер
треплет редкую поросль на вялом подбородке.
Маленькие высокие окна, едва подсвеченные
глубокими фосфорическими огоньками,
ветвистыми стенными трещинами
держат черепичные замшелые крыши
над коваными воротами с бревенчатыми засовами.
Тучи грудью налегают на соборные петушки,
флюгера неохотно скрипят,
редкие расторопные встречные
бросают быстрые соскальзывающие взгляды
по косой, в сторону, прочь.
Пахнет ворванью, смолёными канатами,
Свежеструганными досками.
Худая сутулая фигура ныряет за угол,
где редкие фонари в размывах
золотят склизлые подвальные ступеньки.
И там, ниже – тёплый хмельной гул
с головой накрывает вороватых поварёшек,
пряное дымное варево на углях
нахально щекочет ноздри,
на грубые просторные столы
лениво стекает свежая ячменная жижа.
Он входит, и бражники поворачиваются
и смотрят, смотрят
на долговязого - под притолоку – пришельца.
Нет, нет – совсем кратко,
Но ему чудится, что целую вечность:

Тяжкая настороженность,
 разгорающаяся под набрякшими веками,
 змеиная изготовка изогнувшихся в жиру вен,
 хищный наклон
 подавшихся с табуретов широких костяков...
 И дверь, похожая на ломаную обложку,
 неумолимо затворяется,
 пряча и вороной балахон, и скудный подземный свет,
 на сквозь густеющую темноту
 ещё можно прочесть на скрипучем отсыревшем дереве
 закавыченное Детгиз, тысяча девятьсот...
 И далее уже неразборчиво.

3.

Ползучее облако ровного гомона
 сыто ворочается в душном подвале
 большие плотные ладони
 увесисто хлопают по соседским плечам,
 усы в колючей солодовой пене
 липнут к бугрящейся щёчной щетине,
 завариваются и вскорости гаснут
 разнобойные низкоголосые песни
 над пластами шпигованной говядины,
 солёными сухарями, дырчатými охровыми сырами
 россыпями вымоченного гороха,
 коричневобокими перчеными рыбами
 и остановившимися глазами.
 Игральные кости из деревянного стакана
 неумолимо катаются от пухлого живота,
 к сизым подглазьям, от верёвочных шейных жил
 к многораструбному подбородку,
 увлекаая покорные гульдены
 по тёмной траектории скользкой удачи
 под хриплые нутряные выкрики:
 “Слава, слава бобовому королю!”
 И только “лю-лю-лю” слышится
 папы-с маминому оболтусу
 в берложье мягкойконедрой постели
 подле подавленного колченогого стула,
 на котором читанное наугад
 с выдранными страницами, что зияют
 поножовочными припортовыми подворотнями
 ясного первого сна.
 И ещё уйма времени до того, как отдадут швартовые

и можно перекинуться горячей шуточкой
 с крутобёдрой хозяйкой харчевни
 и фальшиво подпеть
 диковатому хору разбухших кутил
 и тупо заглядеться
 на лукавый тусклый фонарь у входа.
 Но потом по царапающему промозглому вечеру
 непременно нужно успеть –
 не опоздать к отплытию,
 чтобы не раствориться в начинающемся чёрном дожде.

4.

Как ни странно, точно помню номер дома
 на железном покорёженном квадрате
 в слепом полукруглом переулке,
 густую крупу за двойными стёклами,
 теснину крыш с разноростными антеннами,
 довоенный комод, а высоко над ним
 “Охотников на снегу” в потемневшей раме,
 и мягкие брейгелевские сумерки
 по углам аккуратно прибранной комнаты.
 После уроков
 я заносил ампулы с чем-то обезболивающим,
 а она усаживала и почему-то заводила разговор
 о том, как много лет назад
 пролетела с экзаменами на геофак,
 как у неё долго-долго был огромный глобус,
 он стоял посреди квартиры,
 и косматый домашний кот
 вдумчиво вращал его лапами, не выпуская когтей.
 Дым от импортного латуннобаночного чая
 поднимался до гуляк на коньках
 в заснеженном фламандском городке,
 а она с одышкой отходила от стола к окну
 и внимательно глядела наружу.
 Она хорошо держалась, когда узнала диагноз,
 лишь однажды случилась банальная короткая истерика,
 телефон от шального удара перестал работать,
 и никто дозвониться ей уже не мог.
 Наверное, именно поэтому
 так неиссякаемо сыпались пытливые вопросы
 о сомнительных успехах в учёбе
 (будто в краснокрылых дневниковых цифрах
 зашифровано что-то безумно важное)

на садовую голову сына дальних родственников
в столбняке от непомерной крепости байхового,
обормота, мечтавшего поскорее улизнуть,
но незаметно застрявшего дожидаться
первого раннего огня в заиндевелых окошках
вокруг весёлого дальнего катка.

* * *

Они все умерли. И нынче ты да я
перемываем кости по привычке,
пока разноголосая семья
в местах подземных разжигает спички,

чтоб высветить друг друга и прочесть
в следах петельных, отворённых венах,
что всё путём, что всё сбылось как есть,
как обещали в строчках довоенных.

Тогда в красивых куртках летуны
глядели физкультурные парады,
и грелись, осознанием полны,
в горниле славы первые бригады

и дирижабля медленная тень
смущала огорошенные души.
Кепчонку сдвинь, кожаночку надень –
нужны-важны оплечь глаза и уши,

чтоб после смаковать за упокой
шампанского джазменовские брызги,
водить рукой по даме никакой,
накапывать в наркомовский до риски.

Ну а кому – раскуривать «Казбек»
и спички оставлять для подземелья.
И строчек заполупочных разбег,
сомнительное средство от забвенья

очередного тщетного пловца
по темноте заядлой, законной,
лелеять в поте ясного лица –
лишь свет настольный, высверк незаконный

и оклики затерянных друзей
в полях гостеприимного Аида,
и рукописи, сданные в музей,
и детская свирепая обида

на шустрые мурашки на спине
от грубой крови, участи земельной
в далеком дыме, будущей стране,
не плачущей над метрикой семейной.

* * *

Выискиватель звёзд
среди непогоды манной
печалится всерьёз
о жизни безобманной,
о ясном колесе
у круговерти снежной,
о том, что вся и все
сверкнут на спице смежной.
Перемигнётся явь
с небытием природы
и разбежится вплавь
сквозь города и годы.
Оконная зима,
угрюма и безуста,
сполна и задарма
явит твоё безумство.
Привычку наблюдать
беззвучный ветер резкий,
немую благодать,
отдёрнув занавески.
Надежду разглядеть,
переморочку видеть
всю зелень, кровь и медь,
что не желает выдать
охочий до светил
буран в оконной раме,
что намертво схватил
их высверки и грани
водоворотом туч,
причудой перемеса.
И свет, что снег, колюч
В очах ночного беса.
Ему – всё мишура.
Он тешится соседством.
Пора, мой друг, пора
Не баловаться детством.

Патрон последний

«Ну что, постреляем?» - задорно хохотнул пухлощёкий человек с непоседливыми чертятами в цепких глазах.

«Пострел – он и в Африке пострел, - подумалось мне, - времени, стало быть, не на всех пороху хватает».

«Да не ёжься ты, - посоветовал он, уверенно улыбаясь, - мне теперь можно».

И он широким жестом извлёк из внутреннего кармана и веско продемонстрировал «корочку».

«Я ведь, признаться, и до тебя баловался. Выкопаешь в коробчонке ветхой патрончик, взвесишь на ладони любовно,ставишь в барабан раздумчиво. Помедлишь... Торопиться, ведь, нам с тобой теперь некуда. Верно?»

Наклонившись над своим просторным коренастым столом, он выдвинул потайной ящичек вытащил из него нечто похожее на огромную готовальню. «Служивцы удружили», - пояснил он между прочим. Бережно открыл хранилище и величаво позволил: «Смотри!». Сверкнул углем узкий ствол, забликовали выпуклые бока, грозно проступил рельеф рукояти...

В служебном тире мы были одни. Он протянул увесистую ношу мне. « Там один только и остался. Так что давай». Как заправский убийца я поднял тяжкий инструмент разъятья на уровень глаз. Но мишень в желобке не увидел. Не для того, видно, пожаловано мне зренье.

«Что мешкаешь?» - летело из-за спины. А я не мешкал. Я ждал, пока ненависть к слепоте своей докипит до края. И когда это случилось, холодно нажал на спусковик.

* * *

Пока окрестная пурга проходит мимо
и чайник крышкой гроыхает на плите,
над вешней Австрией, рассказанной и мнимой,
гуляет песенка в воскресной темноте –

мерцают сызнава над Веной черепичной
дизеы праздника без имени, и весь
бедняцкой прихоти, бессоннице скрипичной
то там аукается пригород, то здесь –

беспечной беженкой из весей виноградных
туда, где муторный до дрожи рыбий жир
в суровых бабушкиных каплях аккуратных
страшит любителя коверкать падежи.

И эти затемно будильниковы трели,
и поступь тяжкая автобуса по льду –
январь пропраздновали, елки прогорели,
и всю на пении пропели ерунду.

А третьей четверти тягучие чернила
не иссякают в синей ручке поршневой –
как жизнь куражилась, как скрипочка горчила,
в предсонный обморок врываясь не впервой.

И прежде нежели вдохнуть дунайской тины,
склонять для завтрашнего русского пойдешь
слова, которыми едва ль переводимы
пурга и дерева разбуженного дрожь.

* * *

Вечер пробирается по крышам,
занавески в окнах теребя.
В августе под небом тёмно-рыжим
сладко ожидание дождя.

На пороге нового ненастья
не взыщи за старые грехи –
в тишине окраинного счастья
поминать былое не с руки.

Положи антоновки в тарелку,
чтоб молчанье наше превозмочь.
Будем нынче слушать перестрелку
яблок, обрывающихся в ночь.

Лобовые частые удары.
Голубые молнии вдали.
Ах, какие тары-растабары
мы б с тобою за полночь вели!

Дабы миром всё срослось к рассвету
и не ныли битые бока
у плодов, тревожащих планету
мокрых трав и грязного песка.

Чтоб разряды прожитой тревоги
не дошли сквозь дождь и темноту.
Чтобы мы запомнились в итоге
на промытом временем свету.

* * *

Лист рыжепалый и пропащий
с утра куражится над чашей
на пересохшем черенке.

Его осенняя забава
блажить налево и направо,
квитаться с прошлым налегке.

То прянет грудью окаянной,
как будто ветер океанный
всю жизнь ему и сват, и брат.

То наострит лесные уши
по напрувлению голой суши,
ветрами выбритой стократ.

Но вдруг замрёт и заглядится,
как будто глина иль водица
для бога, собственно, одно.

И было всё ни тем, ни этим,
и незапамятным столетьем
зачем-то в явь обращено.

И ржавый в пепел превратится.
И не отыщет чащи птица,
с утра над кронами кружа.

Капризно бога заиканье.
Убого лиственное знанье.
Безукоризненна межа.

* * *

Валере Коренюгину

Апельсиновым лисьим огнем
подрумянен декабрь изнутри.
В предрождественский сумрак нырнем,
и гори оно, друже, гори

шалым пламенем (туже, свежей
извивайся веселый язык
у твоих и моих виражей)
ясной участи, черной слезы,

бесполезной игры пироги,
карамельная эта печаль.
На какие не прянешь круги,
горемычного счастья не чай.

Все одно – потому и ничто
(торопливая пыль, кутерьма).
В нашем сумеречном шапито
лишь безумцы не сходят с ума.

Что им фантики, блески, фольга,
фатовские банты, конфетти?
Завертелось – и вся недолга:
не смотри, не смотри, а иди

в темный час, в заколдованный лес,
ведь едва остановимся мы,
и под куполом здешних небес
не отыщут ни света, ни тьмы.

* * *

облаков кособокое войско
заржавелого неба за край
отошло как вчерашнее свойство
жить как жил а теперь помирай

небосвода дурная причуда
верхогляда чудная беда
это воинство родом отсюда
но едва ли вернётся сюда

на боках бронзовеющих криво
отпечатался ток временной
иноходца игривая грива
на спине командир за спиной

поле небыли небо печали
по краям заржавелая кровь
перемирия не обещали
потому заваруху готовь

с пустотой наползающей сверху
воевать до поживы её
дабы правым прибыть на поверку
самодельное стиснув цевьё

СОДЕРЖАНИЕ

- «пиф-паф и дивизии крышка...»
 «Нахлобучен на башни...»
 «ситро на запивку картошка рагу...»
 «Водоросли осени осклизлой...»
 «Запомни загар на девчачьей руке...»
 Патрон первый
 «Банки да склянки катаются в ельнике...»
 «Увы, твои мальчишья сходки...»
 «не за водою пойду босиком...»
 «Всё какие-то смутные виды...»
 «Неудельные надвинулись недели...»
 «Пока залысины глумливо...»
 «Набухший оттепелью Воронеж...»
 «Чёрные бордовые разводы...»
 Патрон второй
 «По косогорам сохнет глина...»
 «на прежнюю пряжу надёжу...»
 «Просыпаясь от взгляда догадливых белых крыс...»
 «Кончатся вечеру, качаться...»
 «Засыпая, видишь пологие дюны...»
 «уже холмы такого ила...»
 «Листья зашепчутся, ветви шелохнутся, кроны...»
 «заморочки нездешнего рода...»
 Патрон третий
 «Серобородый старик на приколе...»
 «От школы домой...»
 Заметки о передвижении дюн
 «Рыдает радио, икая...»
 «От ветра, наполнявшего страну...»
 «Краем стылого пляжа трусцой не спеша...»
 «Вот и вишен почти не осталось...»
 Патрон четвёртый
 «На шифоньере шкипер с трубкой книзу...»
 «Ослабли стылые метели...»
 «Не сон ли, что в прежнем режиме...»
 «никак чумовой не припомнить прищур...»
 «Мы запальчиво дышим...»
 «какая с нами тьма простилась...»
 «Будет бодаться, будить, говорить напролом...»
 «Озноб весны респираторной...»
 «ау амуров майских вакса...»
 «упрямо кривая вольфрама...»
 Патрон пятый

«Что чайки чумные кричали...»
«кого зовут тот ускользает...»
«Нелепой любви отпечаток...»
«Посиделок по кухням растаял галдёж...»
«Стишок учи, мотай на ус...»
«как ни мети а на улице грязно...»
«Друг ты мой, не сиди в интернете...»
«Негодника, чудного перебежчика...»
Йеллоустоун
«За границу эмэйлы твои летят...»
«Неясный штемпель на конверте...»
«Огрузлый август задрожит...»
Патрон шестой
«Ужин дачный на участке у межи...»
«уже и не вспомнить навскидку...»
«Тучи, наползающие косо...»
«Поделом тебе – кончились все припасы...»
«Икс невзначай скончался. Это его проблема...»
«Кукуев побежал за коньяком...»
Сквозь грипп
«Они все умерли. И нынче ты да я...»
«Выискиватель звёзд...»
Патрон последний
«Пока окрестная пурга проходит мимо...»
«Август пробирается по крышам...»
«Апельсиновым лисьим огнём...»
«облаков кособокое войско...»